

Пушкин и Россія в польском литературовѣдѣніи

«Народам», в особенности тѣм, которые оформлены в государственныя дѣля, свойственно не понимать друг друга. Бывает и так, что взаимное непониманіе сильнѣе, когда они пространственно друг к другу ближе. Исторія русско - польскихъ отношеній, кажется, — один из примѣровъ этого рода. Дѣло здѣсь осложнялось тѣм, что в теченіе вѣковъ то часть Россіи была «Польшей», то Польша была частью «Россіи». К сожалѣнію, поскольку дѣло идет об антипольскихъ настроеніяхъ у русскихъ, можно было - бы привести не мало примѣровъ из русской литературы. Даже у Толстого в первый періодъ его духовнаго развитія, а также еще в пору написанія «Войны и Мира», как это показалъ недавно проф. Ледницкій *), полякъ выводится всегда какъ «чужой». Зависимость в данномъ случаѣ Толстого от старинныхъ литературныхъ образцовъ, нереальность изображенія у него, величайшаго реалиста, этого «чужого» является какъ разъ характернымъ примѣромъ в подтвержденіе сказаннаго выше. Впослѣдствіи Толстой преодолеваетъ в себѣ эту предубѣжденность; полякъ, из «чужого», становится для него «своимъ», братомъ во Христвѣ.

Къ чести обоихъ народовъ надо сказать, что в ихъ средѣ всегда имѣлись люди, умѣвшіе ставить человѣческое начало выше узконаціональнаго и такъ или иначе стремившіеся отрѣшиться одни отъ полонофобства, другіе отъ руссофобства. Сильнѣе всего это сказывалось какъ разъ в ту эпоху, которой спеціально занимается проф. Ледницкій, — в началѣ XIX в., в пору пробужденія національнаго сознанія и вмѣстѣ с тѣмъ жизненности идей *Weltbürgertum*, когда центральной проблемой философіи исторіи была проблема совмѣщенія національнаго и общечеловѣческаго начала, когда каждый мыслящій человѣкъ считалъ вполне возможнымъ наступленіе момента, «когда народы, распри позабывъ, в великую семью соединятся», и считалъ своимъ моральнымъ долгомъ содѣйствовать

*) V. Lednicki. Quelques aspects du nationalisme et du christianisme chez Tolstoi. — Краков, 1935.

осуществленію этого идеала. Если мѣрять на современную мѣрку, мѣрку времени, когда національное сознание выродилось в безобразно - жестокий и тупой национализм, то какими умѣренными и человѣчными покажутся стихотворенія Пушкина, составляющія его «антипольскую трилогию»! И тѣм не менѣе для лучших из его современников появленіе этих стихов было нравственным ударом. С пушкинским «конформизмом», далеко не безоговорочным, они примириться не могли. Чѣм рѣже имѣют мѣсто явленія, свидѣтельствующія, что «человѣческая», «европейская» традиція все же еще и сейчас не угасла окончательно в европейском сознаниі, тѣм они отраднѣе, тѣм цѣннѣе. В частности, что касается русско-польских отношеній, к этой категоріи явленій должны быть отнесены работы проф. Ледницкаго и его сотрудников в изданном им Пушкинском сборникѣ *).

Особая привлекательность этюдов проф. Ледницкаго, прежде всего, в том, что, занимаясь преимущественно Пушкиным и Мицкевичем, он сам словно дышет их «воздухом», воздухом времени, когда человѣкъ был, дѣйствительно, во всѣх отношеніях и в полной мѣрѣ человѣком, когда он не подчинял своей мысли никаким «идолам». Отсюда та полная непредвзятость и то безпристрастіе, с каким проф. Ледницкій судит и говорит о людях этой эпохи, об их взаимоотношеніях, и та способность сочувственного пониманія, которая, в сочетаніи с строгой научностью, с интересом к «petits faits», не ради их самих, не из науковѣрческаго педантизма, но в силу стремленія приблизиться к постиженію исторической реальности во всей ея пестротѣ и сложности, дали ему возможность увидѣть очень много такого, что до сих пор не замѣчалось. Говоря это, я имѣю в виду вовсе не только то, что в работах Ледницкаго имѣет прямое отношеніе к Пушкину. Проф. Ледницкій — «пушкинист»; но это не значит, что все, что не имѣет прямого отношенія к вопросам т. наз. «пушкиновѣдѣнія», лежит вѣдѣнія его зрѣнія. Уже одно то, что наряду с Пушкиным в центрѣ

*) Puszkin, 1837 - 1937. — 2 тома. Краков, 1939. — Оговариваюсь, что нижеслѣдующія мои замѣтки о результатах работ выдающагося польскаго пушкиниста основаны на его статьях в этом сборникѣ, а также на тѣх, которые были изданы им в 1935 г. под общим заглавіем *Przyjaciele Moscale*. С его главной работой о Пушкинѣ (Puszkin, Краков, 1937), я, к сожалѣнію, до сих пор был лишен возможности ознакомиться.

его вниманія стоит и Мицкевич, дает ему возможность чрезвычай-но расширить предѣлы самого «пушкиновѣдѣнія».

Его «Пушкинскій Table-Talk», как он назвал свой этюд о Пушкинѣ, помѣщенные в Пушкинском сборникѣ, поучительны для русских «пушкинистов» между прочим вот в каком отношеніи: эти послѣдніе, за малыми исключеніями, когда они занимаются вопросами об иностранных источниках Пушкина, когда вскрывают его, по выраженію — неточному — Гершензона, «плагиаты», обычно останавливают вниманіе на французских, англійских, итальянских поэтах. А Мицкевич, который был другом Пушкина? Котораго вещи Пушкин переводил? Тут снова сказывается дѣйствие указаннаго выше своего рода «закона исторіи»... Сколь, однако, важно для пониманія Пушкина знакомство с творчеством Мицкевича, можно судить по первому этюду из серіи «Table-Talk» — о «Полемикѣ Пушкина с Мицкевичем». «Полемику» эту, как оказывается, Пушкин вел перѣдким у него способом: перефразируя того, с кѣм он полемизировал, — в данном случаѣ в «Галубѣ», гдѣ В. Ледницкій обнаружил ряд «цитат» из «Конрада Валленрода», в дѣйствительности, явных «отвѣтов» автору, представляющих собою развитіе той же темы, только, так сказать, переложенной в другую тональность. Герои обѣих поэм находятся в аналогичном положеніи — «варвара», принявшаго христіанство и тѣм самым вырваннаго из своей среды. Оба испытывают тоску, но один — у Мицкевича — по родинѣ, другой — у Пушкина — по чужбинѣ. Если принять во вниманіе, что «Галуб» писался в связи с «Путешествіем в Арзрум», то из сопоставленія этой недоконченной поэмы с Мицкевической становится ясным, что основная ея тема та же, что, в болѣе или менѣе зашифрованном видѣ, затрагивалась, как извѣстно, столь часто Пушкиным: тема «ухода», бѣгства, тяги к «чужой землѣ», освобожденія от «опеки августѣйшаго «покровителя» поэта *).

Было бы недостаточнo остановиться на выводѣ из этого о важности, для пониманія Пушкина, сопоставленія его произведеній с произведеніями Мицкевича. Исслѣдованія проф. Ледницкаго открывают перед нами еще другія перспективы. Одна из цѣн-

*) Укажу, в связи с этим, на статью Вл. Фишера в сборникѣ Ледницкаго: «Агонія Пушкина», гдѣ наличіе этой-же темы удачно вскрыто в «Родригѣ», «Пророкѣ», отрывкѣ из Буніана, также, отчасти, и в «Русалкѣ».

ных особенностей этих изслѣдованій в том, что автор не замыкается в предѣлах основной темы и, удачно избравши для них форму «застольных бесѣд», не запрещает себѣ отклониться в сторону, затрагивать и вопросы, на первый взгляд, побочные, на дѣлѣ подводящіе нас к лучшему уразумѣнію *реального* Пушкина, реального в смыслѣ величины, существующей «*an und für sich*». но в опредѣленном «контекстѣ», — немыслимаго таким, каким он был, внѣ этого контекста, каковой, с извѣстной точки зрѣнія, может быть для историка не менѣе важным, чѣм сам он, Пушкин. Пушкин не раз «перекликался» с Мицкевичем, вел с ним скрытую дружескую полемику. Это — давно установлено. Но проф. Ледницкій, если не ошибаюсь, первый обратил вниманіе на чрезвычайную близость тѣх мѣст в «Предках» (*Dziady*), гдѣ Мицкевич говорит о царской, петербургской, Россіи, о ея «безличіи», «призрачности», — против которых возражал Пушкин, — с рядом мѣст из «Философических писем» Чаадаева, причем важно то, что прямого заимствованія ни перваго у втораго, ни втораго у перваго быть не могло. Неизвѣстно даже, был-ли Чаадаев лично знаком с Мицкевичем. Как в таком случаѣ об'яснить эти совпаденія? Тѣм, во-первых, что Чаадаев раньше, находясь в Польшѣ, был близок с людьми, с которыми был близок и Мицкевич, во-вторых, что общая им обоим философія русской исторіи создавалась у них под вліяніем одних и тѣх-же мыслителей. «Философскія Письма» и «*Dziady*» — продукт *одного и того же* духовнаго «климата», характернаго столько-же для Польши той поры, сколько и для Россіи. Русская и польская историко - философская мысль питались общими источниками и двигались в *одном* направленіи. Чаадаев в Россіи не был одинок. Пусть Пушкин и полемизировал с ним, как и с Мицкевичем (любопытно, что при этом он не замѣтил совпаденій у обоих своих антагонистов, на что указывает проф. Ледницкій): был-ли он, однако, *убѣжден* в их неправотѣ? Это сомнительно; слишком уж много его высказываній, в которых он так или иначе «проговаривался», противорѣчат этому. С указанной точки зрѣнія чрезвычайно важно едѣланное автором сопоставленіе «Фил. Писем» с «Думой» Лермонтова. Здѣсь словесныя совпаденія бьют в глаза и проливают свѣтъ на подлинный замысел Лермонтова: в дѣйствительности он имѣет в виду не «наше поколѣніе», а *всю* Россію, всю ея исторію. «Дума» — сво-

его рода поэтическое résumé чаадаевской характеристики Россіи.

Расширяя, таким образом, поле своих изысканій и оперируя методом сопоставленій стилистических особенностей изучаемых авторов, проф. Ледницкій успѣлъ сдѣлать еще не мало цѣнных выводов. Так, напр., ему удалось установить близость Тютчева к Пушкину в их пониманіи Наполеона, в их оцѣнкѣ декабристскаго движенія (большой заслугой автора, кстати сказать, надо признать его опроверженіе ходячаго в послѣднее время взгляда на отношеніе к декабристам русскаго общества послѣ разгрома движенія: будто-бы *все* общество цѣликом отшатнулось от декабристов и проявило полное равнодушіе к постигшей их участи). Автор обнаруживает «двусмысленность» тютчевскаго «Вас развратило самовластье», заключающаго в себѣ осужденіе «самовластья» в такой-же мѣрѣ, как и возставших против него *).

В своем стремленіи уловить, с одной стороны, тѣ общія духовныя тенденціи, какія были присущи русской интеллигенціи пушкинской поры, с другой — выявить их общность с настроеніями и тенденціями современной ей интеллигенціи польской, проф. Ледницкій не ограничивается только сопоставленіями чисто - литературнаго свойства: он подходит к проблемѣ и с социологической точки зрѣнія. В своем сборникѣ этюдов, посвященном тѣм-же вопросам, «Русскіе друзья» (Przyjaciele Moskale, 1935—заглавіе связано с заглавіем извѣстнаго стихотворенія Милкевича, обращеннаго к его «русским друзьям»), он, между прочим, дает удачную характеристику польской культуры, как культуры по преимуществу «дворянских гнѣзд**). В *этом* ея сродство с русской культурой. А в своей статьѣ из Table Talk'a о «Поэзіи супружества» у Пушкина, гдѣ вскрыт генезис Тургеневскаго «Дворянскаго Гнѣзда» из «Евг. Онѣгина» и прозанческих пуш-

*) Позволю себѣ одно замѣчаніе по поводу сближеній, дѣлаемых автором между тютчевскими и пушкинскими средствами выраженія. Сопоставленія эти показывают, что Тютчев дѣйствительно испытал на себѣ весьма сильное вліяніе поэтическаго языка Пушкина. Все-же такія указанія как на рифмы *любовь — кровь* или на эпитет *роковой* у Тютчева, кажется мнѣ, не имѣют доказательной силы: это не болѣе как поэтическія clichés, одинаково частыя как у Пушкина (извѣстно, что уже сам Пушкин подобными clichés тяготился и подсмѣивался над ними), так и у всѣх других поэтов той-же поры.

***) В статьѣ Zdziechowski - Jusycysta.

кинских повѣстей, он убѣдительнѣйшим образом показывает, в какой мѣрѣ русский роман был обусловлен этой русской общественной структурой, в которой «Дворянское Гнѣздо» играло преобладающую роль.

Я остановился на мѣрѣ на тѣх сторонах изслѣдованій проф. Ледницкаго, которыя, по моему, представляют особый интерес, поскольку онѣ являются проявленіем благородной и рѣдкой в наше время тенденціи к преодолѣнію стѣсняющих мысль націоналистических предразсудков, во-первых; а во-вторых, поскольку онѣ показывают, сколь плодотворным может быть тот общій его подход к проблемам русской культуры и, в частности, русской литературы, при котором принимается во вниманіе связь этой культуры с культурою польскою (при всѣх их различіях), — то, что, повторяю, в подавляющем большинствѣ случаев как раз игнорируется. Этим, однако, не исчерпывается сущность изслѣдовательскаго метода проф. Ледницкаго. С полной послѣдовательностью он расширяет область поисков источников Пушкина — стилистических и идейных не только, т. сказать, «горизонтально», но также и «вертикально». Насколько я знаю, пушкинисты обычно, ставя вопрос о русских источниках Пушкина, обращаются к тѣм авторам, на которых указывал он сам, и, поскольку дѣло идет о литературѣ до-пушкинскаго и до-карамзинскаго времени, дальше Богдановича и Державина не идут. Ледницкому-же удалось установить несомнѣнную связь между «Родословной моего героя» и кантемировской сатирой «Филарет Евгений»: эта «приписка» к «Мѣдному Всаднику» является, опять таки, своеобразным «отвѣтом» Кантемиру *).

Из приведенных примѣров видно, сколь необходимо для каждаго из нас, русских, интересующихся вопросами русской литературы и русской общественной мысли, знакомство с работами

*) Przymjaciele Moskale, 197 - 209. — Проф. Ледницкій считает, что эта-же сатира послужила источником также и для Грибоѣдова — в самохарактеристикѣ Молчалина: «Мнѣ завѣщал отец»...—Но вряд-ли. Совѣты, которые дал Молчалину отец, почти дословно совпадают с тѣми, какіе Генриетта из «Les Femmes Savantes» Мольера дает своему возлюбленному для того, чтоб он снискал расположеніе ея матери (акт I, явл. 3), — что уже давно отмѣтил Алексѣй Веселовскій. (Этюды и характеристики, 1894, стр. 159). Сходство между этим пассажем из «Горя от ума» и цитированным у автора из Кантемира несравненно болѣе отдаленное.

польскаго историка русской литературы. И не его одного. В «Русских Друзьях» *), во II-ом томѣ Пушкинскаго сборника, приведено немало фактов, свидѣтельствующих о том, что, вопреки всѣм тѣм *imponderabilia*, какія, говоря вообще, создают какую-то моральную стѣну между двумя народами, обреченными на вѣчное сожительство и «вѣчный спор между собою», все-же в Польшѣ ведется — и велась уже раньше — серьезная работа над познаніем Россіи; и пусть эта работа нерѣдко направлялась — и направляется — соображеніями, обусловленными все тѣм-же прискорбным «комплексом», все-таки есть люди, вдохновляющіеся побужденіями совѣм иного свойства, сроднившіеся с Россіей, искренно стремящіеся к тому, чтобы пробить эту «стѣну», и труды которых не могут игнорироваться русскими образованными людьми. Правда, кромѣ *imponderabilia*, есть еще одно препятствіе: язык. Ни русскій, ни польскій язык еще не стали *общими* европейскими языками. Образованный русскій не считает для себя необходимым знакомство с польским языком, как и образованный поляк — с русским. У проф. Ледницкаго и его сотрудников цитаты из французских и англійских авторов приведены просто к оригиналѣ; цитаты-же на русском языкѣ всегда с переводом.

К участию в своем Пушкинском сборникѣ проф. Ледницкій привлек ряд польских ученых (нѣкоторые из них его ученики, и работы их возникли в руководимом им семинаріи по исторіи русской литературы), а также и русских. За недостатком мѣста я вынужден ограничиться упоминаніем лишь о нѣкоторых из их статей, — тѣх, какія кажутся мнѣ особенно значительными. А. Л. Бем («Путь Пушкина к прозѣ») правильно указывает, что обладаніе прозаических произведеній над стихотворными в послѣдній період жизни Пушкина было не отходом от поэзіи, а переходом от стихотворнаго *повѣствованія* к прозаическому, что было связано с его стремленіем к освобожденію поэзіи от внѣ-поэтических элементов, к «чистой» поэзіи. М. Г. Горлин («Египетскія ночи») внес ряд цѣнных дополненій к изслѣдованіям Бонди, М. Гофмана и покойнаго Ходасевича, посвященных разгадкѣ «тайны» этого произведенія (весьма важно указаніе на влияніе, наряду с Гофманом, французской «*école frénétique*», также — на сродство «Ег. ночей» с «Пиковою Дамой» и «Мѣдным Всадником»). Статья К. Заводзинскаго («Около Пушкина») содержит в

*) M. Zdziechowski — rusycysta krytyce przekladach.

себѣ тонкій анализ творчества Баратынскаго, выполненный путем сопоставленія его поэзіи с пушкинской. Превосходна статья Ел. Вильман - Грабовской («Поэт мрака и мятели»). Путем, кажется, исчерпывающаго подсчета наиболѣе часто повторяющихся у Пушкина образов, — образов ночи, мрака, бури, мятели (особенно удачны, с этой точки зрѣнія, сопоставленія этих и подобных образов в стихах и в прозаических вещах) и наблюдений над их вариациями и их развитіем, автор приходит к убѣдительному выводу, что это у Пушкина было вовсе не результатом простого слѣдованія модным тогда образцам, а отвѣчало его собственному видѣнію міра, тому его *трагическому* в основѣ своего жизнеощущенію, которое дало начало всѣм лучшим его вещам. Эта работа служит как-бы дополненіем к статьѣ В. Фишера «Агонія Пушкина», о которой я уже упомянул выше. Позволю себѣ сказать, что из всей пушкинской «юбилейной» литературы, сборник Ледницкаго, по моему, должен быть поставлен на первом мѣстѣ — именно оттого, что он лишен элементов «юбилейности», что он отражает стремленіе, как самого проф. Ледницкаго, так и его сотрудников, прежде всего приблизиться к свободному от всяческих предвзятостей, от какой-бы то ни было задней мысли, постиженію Пушкина, каков он был, а вмѣстѣ — и русской литературы и русскаго сознанія пушкинской поры.

Надлежит еще отмѣтить, в заключеніе, обширную библиографію всего, написаннаго о Пушкинѣ и касающагося Пушкина на польском языкѣ. Эта замѣчательная библиографія, заключающая в себѣ 766 номеров, составлена Маріаном Топоровским и сама по себѣ представляет явленіе единственное во всѣх работах подобнаго рода.

П. Бицилли